

Николай Михайлович Карамзин

Филалет к Мелодору



Николай Михайлович Карамзин

Филалет к Мелодору

Весной в Лионе вспыхнуло поднятое контрреволюционерами восстание. Его поддержали жирондисты. Началось грандиозное восстание против революции в Вандее. Спасая революцию, опираясь на восстание парижских секций (31 мая – 2 июня), якобинцы, во главе с Робеспьером, Маратом и Дантоном, установили диктатуру. Вот эти события, развернувшиеся в июне – июле 1793 года, о которых Карамзин узнал в августе, и повергли его в смятение, испугали, оттолкнули от революции. Выражением новой идеологической позиции Карамзина, исполненной смятения и противоречий, были статьи-письма – «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору». Мелодор и Филалет – это не разные люди, это «голоса души» самого Карамзина, это смущенный и растерянный старый Карамзин и Карамзин новый, ищущий иных, отличных от прежних, идеалов жизни.

Философия Филалета толкала на путь субъективизма. В центре творчества стала личность автора; автобиографизм находил выражение в раскрытии внутреннего мира тоскующей души человека, бегущего от общественной жизни, пытающегося найти успокоение в эгоистическом счастье.

Содержание

#1	0005
Примечания	0019

**Николай Михайлович
Карамзин
Филалет к Мелодору**

Мелодор! Слезы катились из глаз моих, когда я читал любезное письмо твое. Давно уже такие сладкие чувства не посещали моего сердца. Благодарю тебя! Самая неразрывная дружба есть та, которая начинается в юности, – неразрывная и приятнейшая.

Она сливается в чувствительной системе нашей со всеми пленительными воспоминаниями весенних лет, сего красного утра жизни, лучшей эпохи нравственного бытия. Два добрые сердца, привыкшие любить друг друга, находят в сей любви источник нежнейших удовольствий и добродетельнейших радостей. Ах, мой друг! Можешь ли сомневаться в постоянстве своего Филалета? Везде, где ни был я, – и в жарких и в холодных зонах, – везде образ твой путешествовал со мною, освежал томного странника под огненным небом линии и согревал его в пределах льдистого полюса. Наконец я в отечестве, и не с тобою? Но мне сказали, что ты уехал в чужие земли. К счастью, сие известие, огорчившее меня, было несправедливо. Мелодор в одной стране с Филалетом!.. Спеши, спеш к своему другу! В сельских куцах ожидаю тебя – там, где

некогда с улыбкою встречали мы весну, с грустью провожали лето, где заключился навеки союз душ наших.

Мой друг! письмо твое ознаменовано печатю меланхолии. Ты беспокоен, ты печален, сердце твое страдает, милые надежды твои исчезли, ты ищешь на театре мира – и не находишь тех благородных существ, тех людей, которых некогда любили мы с таким жаром. Одним словом, новые ужасные происшествия Европы разрушили всю прежнюю утешительную систему твою, разрушили и повергнули тебя в море неизвестности и недоумений: мучительное состояние для умов деятельных!

Мелодор! Я не надеюсь утешить тебя совершенно, не надеюсь сказать тебе ничего нового, но любовь имеет особливую силу, и всякий дар любви и всякое слово любви производит благое действие. Часто самая простая мысль, согретая огнем дружбы, бывает ярким лучом света, рассевающим густую хладную тьму сердца нашего.

Подобно тебе, смотрю я внимательным оком на все явления в мире, вздыхаю, подобно тебе, о бедствиях человечества и призна-

юсь искренно, что грозные бури наших времен могут поколебать систему всякого добродушного философа.

Но неужели, друг мой, не найдем мы никакого успокоения во глубине сердец наших? Ужели, в отчаянии горести, будем проклинать мир, природу и человечество? Ужели откажемся навеки от своего разума и погрузимся во тьму уныния и душевного бездействия? – Нет, нет! Сии мысли ужасны. Сердце мое отвергает их и, сквозь густоту ночи, стремится к благотворному свету, подобно мореплавателю, который в гибельный час кораблекрушения, – в час, когда все стихии угрожают ему смертию, – не теряет надежды, сражается с волнами и хватается рукою за плывущую доску.

Так, Мелодор! Я хочу спастись от кораблекрушения с моим добрым мнением о провидении и человечестве, мнением, которое составляет драгоценность души моей. Пусть мир разрушится на своем основании: я с улыбкою паду под смертоносными громами, и улыбка моя, среди всеобщих ужасов, скажет небу: «Ты благо и премудро, благо творение

руки твоей, благо сердце человеческое, изящнейшее произведение любви божественной!»

Уничтожься навеки, мысленная и чувствительная сила моя, прежде нежели поверю, что сей мир есть пещера разбойников и злодеев, добродетель – чуждое растение на земном шаре, просвещение – острый кинжал в руках убийцы! Нет, мой друг! Пусть докажут мне наперед, что бог не существует, что providение есть одно слово без значения, что мы дети случая, слепление атомов и более ничего! Но где же тот безумный изверг, который захотел бы уверить меня в сих страшных нелепостях? Я взгляну на сафирное небо, взгляну на цветущую землю, положу руку на сердце и скажу атеисту: «Ты – безумец!»

Неужели, видя бога в естественном мире, видя руку его в течении планет, в порядках солнечных, в перемене годовых времен и во всех физических явлениях нашей земной обители, будем мы отрицать его действие в одном нравственном мире, который по существу своему должен быть, если смею сказать, ближе первого к сердцу великого божества? Соглашаюсь, что порядок нравственный не

столь ясен для нас, как порядок физический, но сие затруднение не происходит ли от слабости нашего разума? Может быть, единственно оттого мы и не постигаем нравственной гармонии, что она есть высочайшая, совершеннейшая. Дай несведущему творения Локковы: что он скажет об них? Дай ему сказку Кребилъионову: он восхитится ею. Последняя хороша в своем роде, но в ней ли наиболее удивляет нас ум человеческий? – Может быть, то, что кажется смертному великим неустройством, есть чудесное согласие для ангелов; может быть, то, что кажется нам разрушением, есть для их небесных очей новое, совершеннейшее бытие. Сии мысли ведут меня ко святилищу божественной премудрости, густым мраком окруженному; дух мой, брэнною плотию одеянный, не может проникнуть в оное; упадаю во прах своего ничтожества и в младенческом сердце обожаю всетворящего.

Скажи, мой друг, скажи, чего бы нельзя было ожидать от всевышнего и тогда, когда б рука его возжгла только единое солнце на голубом небесном своде? Но там горят их бил-

лионы. Тот, кто великолепно прославил себя в натуре, великолепно прославит себя и в человечестве. – Не будем требовать от вечной премудрости отчета в темных путях ее, не будем требовать того для собственного нашего спокойствия! – Знаешь ли, что всего более пленяет меня в дружбе? Доверенность, которую два сердца имеют одно к другому. Пусть гнусное злословие всеми стрелами своими язвит отдаленного Питиаса: Дамон внимает клевете и с презрением отвергает ее.^{1} «Нет! я знаю моего друга; где бы он ни был, добродетель везде с ним; что бы он ни сделал, дело его – не преступление». Мелодор! Для чего к провидению не иметь нам той доверенности, которую два человека могут иметь один к другому? Бог вложил чувство в наше сердце, бог вселил в мою и в твою душу ненависть ко злоте, любовь к добродетели: сей бог, конечно, обратит все к цели общего блага.

Сия драгоценная вера может чудесным образом успокоить доброе сердце, возмущенное страшными феноменами на театре мира. Вкуси сладость ее, мой любезный друг, и луч утешения кротко озарит мрак души твоей! – Горе

той философии, которая все решить хочет! Теряясь в лабиринте неизъяснимых затруднений, она может довести нас до отчаяния, и тем скорее, чем естественно добрее сердце наше. Иногда, признаюсь тебе, я сам бываю слаб и печален; отвращаюсь от света, от людей и говорю с Грессетом:

Je suis mal où je suis, et je veux être bien;
[1]

душа моя стремится во мрак каких-нибудь неизвестных лесов, во мрак – самого ничтожества, но я стараюсь уменьшать число таких минут в жизни моей, оживляя в душе мысль о всетворящем божестве, которое не есть божество Лукрециево, но есть божество Эпикурово. «Разве оно не любит человека! – думаю сам в себе, – Разве оно не печется о судьбе людей? Разве мир наш не в его руке вместе с миллионами других миров?» Думаю, взираю на свод лазоревый, возношусь духом выше, выше – и взор мой проясняется, оттираю слезы – и мирюсь с судьбою, мирюсь с человеческим родом. Иду в тихий кабинет свой, читаю добрых философов, утешителей, раз-

мышляю – и сравниваю жестокие потрясения в нравственном мире с лиссабонским или мессинским землетрясением, которое свирепствовало, разрушало и наконец утихло; на берегах Тага снова возвышается великолепный город – и обитатели Мессины снова наслаждаются мирною жизнью.

Будем, мой друг, будем и ныне утешаться мыслию, что жребий рода человеческого не есть вечное заблуждение и что люди когда-нибудь перестанут мучить самих себя и друг друга. Семя добра есть в человеческом сердце и не исчезнет вовеки, рука провидения хранит его от хлада и бурь. Теперь свирепствуют аквилоны, но рано или поздно настанет благодетельная весна, и семя распухнет от животворного дыхания зефиров.

Верю и всегда буду верить, что добродетель свойственна человеку и что он сотворен для добродетели. Кто не пленяется описанием златого века, века невинности? Кто не проливает слез умиления, внимая повествованию о делах великодушия и геройства? Кто не любит воображать себя добрым, благодетельным существом? Мой друг! Я был среди так

называемых просвещенных народов, был среди народов диких и видел, что везде, во всех странах человек делает зло с пасмурным лицом, а добро – с приятною улыбкою!.. Сия черта нравственности любезна философу.

Соглашаюсь с тобою, что мы некогда излишно величали осьмой-надесять век и слишком много ожидали от него. Происшествия доказали, каким ужасным заблуждениям подвержен еще разум наших современников! Но я надеюсь, что впереди ожидают нас лучшие времена, что природа человеческая более усовершенствуется, – например, в девятом-надесять веке – нравственность более исправится – разум, оставив все химерические предприятия, обратится на устройство мирного блага жизни, и зло настоящее послужит к добру будущему.

Что принадлежит до мизософов, мой друг, то они никогда, никогда торжествовать не будут. Знаю, что распространение некоторых ложных идей наделало много зла в наше время, но разве просвещение тому виною? Разве науки не служат, напротив того, средством к открытию истины и к рассеянию заблужде-

ний, пагубных для нашего спокойствия? Разве не истина, разве ложь есть существо наук? – Разогнем книгу истории; за что не лилась кровь человеческая? Например, распри суеверия вооружали сына против отца, брата против брата; но какой безумец вздумает обвинять тем самую религию? Напротив того, не она ли обезоружила наконец сих фанатиков, озарив светом своим, светом любви и кротости, их пагубные заблуждения? Нет, мой друг, нет! Я имею доверенность к мудрости властителей и спокоен; имею доверенность ко благодати всевышнего и спокоен. Нет! Свотильник наук не угаснет на земном шаре. Ах! Разве не они служат нам отрадою в горестях? Разве не в их мирном святилище укрываемся от всех бурь житейских? Нет, всемогущий не лишит нас сего драгоценного утешения добрых, чувствительных, печальных. Просвещение всегда благотворно; просвещение ведет к добродетели, доказывая нам тесный союз частного блага с общим и открывая неиссякаемый источник блаженства в собственной груди нашей; просвещение есть лекарство для испорченного сердца и разума;

одно просвещение живодетельною теплотою своею может иссушить сию тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвит все изящное, все доброе в мире; в одном просвещении найдем мы спасительный антидот для всех бедствий человеческих! – Кто скажет мне: «Науки вредны, ибо осьмой-надесять век, ими гордившийся, ознаменуется в книге бытия кровию и слезами», тому скажу я: «Осьмой-надесять век не мог именовать себя просвещенным, когда он в книге бытия ознаменуется кровию и слезами».

Мысли твои о вечном возвышении и падении разума человеческого кажутся мне – извини искренность дружбы – воздушным замком; я не вижу их основания. Положим, что в древней Азии были многочисленные народы, но где же следы их просвещения? История застала людей во младенчестве, в начальной простоте, которая не совместна с великими успехами наук. Даже и в Египте видим мы только первые действия ума, первые магазины знаний, в которых истины были перемешаны с бесчисленными заблуждениями. Самые греки – я люблю их, мой друг; но они бы-

ли не что иное, как – милые дети! Мы удивляемся их разуму, их чувству, их талантам, но так, как взрослый человек удивляется иногда разуму, чувству и талантам юного отрока. Читай вместе Платона и Боннета, Аристотеля и Локка – я не говорю о Канте – и потом скажи мне, что была греческая философия в сравнении с нашею? —

Для чего и теперь не думать нам, что веки служат разуму лестницею, по которой возвышается он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно?

Ты указываешь мне на варварство средних веков, наступившее после греческого и римского просвещения; но самое сие так называемое варварство (в котором, однако ж, от времени до времени сверкали блестящие, зрелые идеи ума) не послужило ли *в целом* к дальнейшему распространению света наук? Солнце, рассеяв облака, сияет тем лучезарнее и тем благотворнее действует на землю. Дикая северная природа, которая в грозном своем нашествии гасила, подобно шумному дыханию борея, светильники разума в Европе, наконец сами просветились, и новый фимиам воску-

рился музам на земном шаре.

Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества, которое беспрестанно идет своим путем и беспрестанно изменяется. Прохладим, успокоим наше воображение, и мы не найдем в истории никаких повторений. Всякий век имеет свой особый нравственный характер, – погружается в недра вечности и никогда уже не является на земле в другой раз.

Мой друг! Мы должны смотреть на мир как на великое позорище, где добро со злом, где истина с заблуждением ведет кровавую брань. Терпение и надежды! Все несправедное, все ложное гибнет, рано или поздно гибнет; одна истина не страшится времени; одна истина пребывает вовеки! —

Природа уже не веселит тебя?.. тебя, моего доброго, моего любезного Мелодора? Нет, пока чувствительное сердце бьется в груди твоей, люби природу, утешайся ею, ищи радости в ее объятиях! Люди, по несчастному заблуждению, могут быть злы, природа – никогда! Нет, Мелодор! Будем всегда нежными чадами нежной матери, будем наслаждаться ее благо-

стию и бесчисленными красотами! Иногда жаркая слеза выкатится из глаз наших: кроткий зефир осушит ее.

В ответ на горестное заключение письма твоего скажу: «Если ужасное пробуждение описанного тобою несчастливца было не что иное, как новый сон, если он вторично откроет глаза, если все ужасы вокруг его исчезнут, если Морфей унесет их с собою в царство ничтожества и теней?..»

Мелодор! Нам не век жить в сем мире. Ударит час, и все переменится! С сею любовью к добродетели, которая была, есть и будет вечным характером души твоей, падем в могилу и закроемся тихою землею!..

*Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,*

там венец бессмертия и радости ожидает земных тружеников!

Примечания

Переписка Мелодора и Филалета впервые опубликована в альманахе Карамзина «Аглая», ч. 2-я, 1795 год. Написаны письма в конце 1793 – начале 1794 года. Об идейном содержании философских писем Мелодора и Филалета см. во вступительной статье. *Филалет* — по-гречески – «любитель истины». *Мелодор* — по-гречески – «даритель песен», то есть поэт.

Сноски

1

Мне плохо там, где я нахожусь, а я хочу, чтобы мне было хорошо (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

...злословие язвит... Питиаса: Дамон внимает клевете и с презрением отвергает ее. – Имеется в виду легенда о Финтии (Карамзин передает имя Phintias – как Питиас) и Дамоне, двух гражданах из Сиракуз, прославившихся верностью в дружбе.

[^^^]

[^^^]